

Помню дым холодного привала,
 Сон бойцов у яркого костра.
 Руку мне тогда ты бинтовала,
 Славная, военная сестра.
 Теплою и лаской окружила,
 Мне о доме что-то говорила,
 Чтобы боль немного улеглась.
 Не забыть мне тихий и кроткий,
 После боя найденный привал,
 Девушку в шинели и пилотке,
 Ту, что я сестрою называл.

Совершенно другое отношение, «сентиментально-ласковенькое»,
 в стихотворении «Сестрица».

Наложу мне повязку, сестрица,
 Кроме раны еще и на грудь.
 Мое сердце, забывшее ласку,
 Успокоится так как-нибудь.
 (...)
 Нарядившись, меня повстречаешь
 В этот солнечный, радостный день.
 И прошу я тебя, дорогая,
 Ты свой белый халатик надень.
 <...>

М.Н. ЛИПОВЕЦКИЙ
 (г. Болдер, США)

ЕГО ИСТОРИЯ

Нижеследующее ни в коей мере не претендует на роль научной биографии Наума Лазаревича Лейдермана – ей еще предстоит быть написанной. Это всего лишь попытка восстановить общую канву его научной жизни, причем с вполне конкретной и предельно субъективной точки зрения – сына и ученика Н.Л.

Жизнь и научная судьба Наума Лазаревича, с одной стороны, типична для ученого его поколения, а с другой, наполнена невидимым со стороны драматизмом. Бодрый, веселый, энергичный, полный идей, блистательный лектор, харизматичный организатор, создавший кафедру, ученый совет, исследовательский центр, тащивший на себе десятки научных проектов, заражавший окружающих уверенностью в необходимости того, чему он сам отдал всего себя – филологии, русской литературе XX века; он всю жизнь вынужден был в буквальном смысле

отвоевывать то, что, казалось бы, полагалось ему само собой, по его незаурядным талантам, заслугам, которых хватило бы на десятерых.

Родившийся в маленьком еврейском местечке Бершадь Винницкой области в 1939-м, он почти чудом спасся от гибели, постигшей двадцать восемь его родственников, оставшихся в местечке и уничтоженных нацистами. Мать Н.Л., Елена Наумовна Липовецкая, несмотря на панику и ужас первых дней войны, смогла вместе с двумя детьми сесть на поезд, направлявшийся на Урал. В Карабаше, Челябинской области, семья Н.Л. жила до 44-го года. Как известно, Карабаш – одно из самых экологически загрязненных мест на планете (так называемые «лисьи хвосты»). Думаю, что этот фактор сыграл определенную роль в смерти дяди Н.Л., Бориса Липовецкого, от туберкулеза. Отец, то ли заразившись от дяди, то ли надышавшись карабашским воздухом, также едва не заболел туберкулезом (ему диагностировали «мокрый плеврит»), однако, его выходили с помощью редчайших в то время антибиотиков. Несмотря на все это, для отца Карабаш оставался местом, с которым были связаны очень теплые, почти романтические воспоминания о детстве. Более того, полагаю, что эти воспоминания сыграли определенную роль в его последующем «возвращении» на Урал.

После эвакуации и недолгого пребывания в разоренной и опустошенной Бершади, семья отца решила перебраться в Одессу. Не знаю, каким образом, но им удалось поселиться в коммуналке – в которой, кроме них, жило еще 6 семей. (Впоследствии они переедут в другую коммуналку, по соседству – комната была побольше, соседей поменьше; в ней мать отца будет жить до начала 80-х.) В единственной узкой, как пенал, комнатке помещались родители отца, его бабушка Мира и его старшая сестра, Маса (она была старше отца на 12 лет). Мать Н.Л., по профессии фармацевт, смогла устроиться на работу не в самой Одессе, а в поселке Коминтерново, куда она уезжала на всю неделю, возвращаясь только на выходной. Отец, Лазарь Зельманович Лейдерман, был высококвалифицированным бухгалтером, но в течение всего послевоенного времени вплоть до самой своей смерти в 56-м году тяжело болел и значительную часть времени проводил в больницах. Таким образом, воспитанием отца в основном занималась его бабушка.

Впрочем, судя по его рассказам, воспитанию он предпочитал самовоспитание – проводя большую часть времени либо в школе, либо в компании одноклассников, либо в крупнейшей в Одессе публичной научной библиотеке им. Горького (для одесситов – Горьковке), что находилась неподалеку. Причем, несмотря на, мягко говоря, озорной характер в сочетании с острым чувством собственного достоинства, Н.Л. любил школу и особенно учителя литературы Виктора Дмитрие-

вича Носевича. Яркий педагог В.Д. в какой-то мере играл роль и.о. отца, вероятно, не только по отношению к Н.Л., но ко всей гоп-компании послевоенных одесских мальчишек, учившихся в классе (обучение было раздельное), большая часть которых росла без отцов. В это же время отец начинал задумываться о занятиях литературой и даже планировал написать книгу о Чехове вместе со своим другом Виктором Ковалениным (впоследствии отцом известного переводчика с японского Дмитрия Коваленина). Еще одно важнейшее событие этого времени – введение совместного обучения с девочками в 55-м году (с девятого класса). Именно тогда отец познакомился с мамой, Лилей Иосифовной Вассерман. Их посадили за одну парту, и кажется, с тех пор они никогда не расставались больше, чем на месяц-другой.

Отец закончил школу с серебряной медалью, что означало тогда всего один вступительный экзамен в вуз. Он поступил на филфак Одесского университета, и хотя свой единственный экзамен он сдал вполне успешно, ему отказали в приеме. Антисемитизм в послевоенной Одессе, вопреки распространенным мифам, был совершенно фашистский, и понятие о процентной норме соблюдалось свято. Тяжело больной отец Н.Л. отправился на прием к декану филфака, который долго рассказывал сказки о том, что он не мог не принять того-то и того-то, потому что они дети Героев Советского Союза, сыны полка и проч. (Н.Л. потом учился с этими «детьми героев» и смог оценить хлестаковский размах декана). Однако, десять похвальных грамот Н.Л. за каждый год школьной учебы, предъявленные начальству, странным образом возымели эффект, и отец был принят на филфак – допнабором.

Н.Л. начал учиться на филфаке в 1956 г. (окончил в 61-м году) и, естественно, оказался в самой гуще оттепельных дискуссий. Именно в это время сформировалась его отчетливая и не никогда менявшаяся с тех пор анти тоталитарная, а точнее, анти сталинская политическая позиция. В то же время он в полной мере разделил оттепельный оптимизм – он действительно верил в то, что все можно устроить заново – честно, весело и интересно (именно в таком порядке). Эта убежденность привела его к так называемой комсомольской работе. Отец, если не ошибаюсь, буквально со второго курса стал комсоргом всего филологического факультета. Но на этой должности больше всего сил и времени он отдал самостоятельности – организовывал колоссальные по размаху сводные концерты, вместе с М.Г. Соколянским – впоследствии известным филологом-зарубежником и на всю жизнь близким (несмотря на разделявшее их расстояние) другом отца – они создали студенческий театр миниатюр. Скетчи писал Марк Георгиевич, а разыгрывали их, помимо М.Г. и отца, И.В. Бобровский, М. Пресич (впослед-

ствии профессиональная актриса, заслуженная артистка Украины) и покойная Л.В. Никулина, ставшая остепенённым этнографом, специалистом по Индонезии. Отец особенно любил вспоминать скетч, в котором он изображал бесстрастного робота, отбивающегося от интервьюеров фразой: «На провокационные вопросы не отвечаю». Среди университетских друзей отца следует назвать и Юрия Михайлика, впоследствии известного поэта (и отца литературоведа Елены Михайлик), оказавшего сильное влияние на многих молодых литераторов-одесситов: как вспоминает М.Г. Соколянский, на скучных лекциях отец рисовал шаржи на Михайлика, а тот отвечал ему эпиграммами.

Наконец, отец поехал комиссаром студенческого отряда на целину, где провел лето 58-го года. Воспоминания о целине были ему чрезвычайно дороги – вероятно, потому что именно там в полную силу развернулся его общественный темперамент. Правда, этот общественный темперамент и тогда, и впоследствии скорее раздражал, чем радовал начальство – показательно, что в отличие от многих «отважных борцов с режимом», отец никогда не был членом партии. (Нынешнее поколение не помнит, что в партию нельзя было просто так *вступить* – в нее должны были *пригласить*.)

Что касается учебы, то она давалась ему легко, хотя никто из преподавателей филфака ОГУ не стал для отца научным авторитетом. Он большей частью занимался самообразованием, итогом которого стала его дипломная работа «Человек и война» о военных повестях совсем тогда молодых Бондарева и Бакланова, оказавшихся в центре яростной критической дискуссии об «окопной правде» – как и все дискуссии того времени, она была по существу политической, хотя и притворялась литературной. Проза Бондарева и Бакланова привлекла Н.Л. прежде всего тем, что в ней несравненно острее, чем где-либо в литературе того времени, вырисовывалась важнейший идеологический мотив оттепели – сдвиг внимания от глобальных целей страны, а вернее, режима, к судьбе конкретного человека, бросаемого в топку исторических катаклизмов. Возвышенное отношение к Отечественной войне оставалось у отца до конца его жизни, однако, с самого начала своей научной биографии он читал книги о войне как свидетельства неразрешимого конфликта страшной советской государственной машины – с достоинством и ценностями «отдельного человека».

Сама эта дипломная работа была написана как яркая *критическая* реплика в той дискуссии: раскованным живым слогом, с обширными цитатами, с полемикой, со смелыми сопоставлениями. Читая эту работу сейчас, невозможно отделаться от мысли, что при более благоприятном стечении обстоятельств Н.Л. мог бы стать одним из ярчайших критиков своего поколения (вообще не бедного на хороших критиков), причем,

критиком публицистического плана – по моим ощущениям, не слабее В. Лакшина. Однако, обстоятельства сложились иначе, и диплом оказался первым шагом отца по направлению к куда более сложному и куда менее заряженному на успех «проекту» – *выработке методов научного анализа современной литературы (а через нее – и общества)*.

Хотя Н.Л. закончил филфак с отличием, и его диплом заслужил всевозможные похвалы рецензентов, на кафедре советской литературе не было аспирантуры (и не факт, что отца бы в нее позвали, если бы даже она и была), но вместо аспирантуры его пригласили стать «освобожденным», как тогда говорили, председателем студенческого клуба и даже пообещали часы на подготовительном отделении (однако, не дали). В принципе эта должность открывала известные перспективы в направлении все той же комсомольской работы. Но отец хотел заниматься наукой, и поэтому, проработав год в студклубе, в 62-м, они с мамой решили уехать из горячо ими любимой Одессы. В Одессе по причинам всего того же «пятого пункта» ни у одного из них не было никаких реальных перспектив.

Почему они едут в Свердловск, а не, скажем, в Москву или, на худой конец, Ленинград? Строго говоря, непонятно. Может быть, потому, что отец получил ободряющее письмо из журнала «Урал», куда он – как, впрочем, и во многие другие лит. журналы – отправил свой диплом? Может быть, потому что в Свердловске жили родственники, которые могли бы помочь (и помогли) с обустройством? А может, потому что отца грели воспоминания о детстве в Карабаше? Задним числом видно то, что тогда, в 61-м предсказать было невозможно. Отец полагал, что вот тут, в Свердловске, он сможет реализоваться – однако, оказалось, что ему определены весьма узкие рамки для самореализации: СГПИ для науки и журнал «Урал» для критики. (Эта ситуация изменится только в 90-е – когда будет уже поздно что-либо радикально менять.) Ему казалось, что он уехал от одесского антисемитизма, но антисемитизм догнал его в виде регулярных телефонных звонков с грязной фашистской бранью и мерзких провокаций: за каждый из этих «эпизодов» он платит гипертоническими кризами и сердечными приступами.

Но поначалу казалось, что все складывается как нельзя лучше. Его привели в «Урале» – сразу взяли на работу литсотрудником (разбирать самотек), он стал публиковаться: рецензии, развернутые критические статьи о молодежной прозе («Возраст и время», «Сыскал перо – добывай жар-птицу»), военной литературе («Воспитание человечностью и правдой», «Солдатами становятся»), уральских писателях (Д. Нагишкине, С. Мелешине и др.). Довольно быстро пришла преподавательская работа – сначала в ГПТУ № 1 при Уралмаше. Через год его приняли в заочную аспирантуру и взяли ассистентом на филфак

СГПИ (впоследствии УрГПУ), где он проработает сорок семь лет – до самой смерти. У него быстро сложился круг друзей, коллег-аспирантов и молодых преподавателей – Р.И. Монзина, Н.А. Купина, Н.П. Ремизова, Н.А. Архангельская, В. Попов, В.В. Химич, И.Ф. Тайц, В.В. Эйдина, В.П. Лукьянин, Г.К. Щенников, В.М. Паверман, В.Г. Бабенко, Б.И. Лившиц и многие другие. Ему много помогал И.Б. Канторович, в то время декан филфака СГПИ, с которым отца связывали очень теплые и даже трогательные отношения.

Б.М. Эйхенбаум говорил, что жизнь филолога складывается из работы, службы и халтуры. Н.Л. в этом смысле был неправильным филологом – у него все было *работой*, которой он отдавался с полной силой. В ГПТУ он разработал с нуля курс по эстетическому воспитанию, и по его методичкам преподавали еще десятилетия после его ухода. В СГПИ его поставили преподавать курс античной литературы, и он заработал у студентов прозвище «Зевс-громовежец»: никому из них не приходило в голову, что вообще-то античные Греция и Рим страшно далеки от его научных интересов. В библиотеке «Урала» он выловил несколько ярких талантов – например, Валерия Климушкина и Александра Филипповича, о которых потом много писал.

Н.Л. сам себя называл семижилым – как выяснится, ошибочно (тяжелым гипертоником он стал еще до сорока) – речь шла не о выносливости или избытке энергии, а о принципиальном неприятии халтуры. Для ничтожного выступления перед школьниками (а он читал лекции везде: в школах, на заводах, в больницах, даже в тюрьмах) он всегда писал конспект. Каждый литературный текст, с которым он работал – неважно для лекции, статьи, книги или рецензюшки – сопровождался у него подробнейшей «обработкой» – выпиской всех цитат, их распределением по категориям, комментариями. Так у него обработаны не только «Илиада», «Тихий Дон» и «Жизнь Клима Самгина», но и любая рукопись, которую он «внутренне» рецензировал для «Урала» или Средне-Уральского книжного издательства. Страницы его собственных рукописей – до появления компьютера – приближались по толщине к картону, состоя из нескольких слоев наклеенных друг на друга бумажных полос: это были слои правки, переписывания, передумывания. В его календаре не существовало выходных: если у него не было занятий или лекций, он уходил на весь день в Белинку¹ или писал по 7-8 часов с получасовым перерывом на обед.

¹ В областной научной библиотеке им. Белинского в Свердловске-Екатеринбурге, кроме лучшей в городе коллекции, были еще и отличные читальные залы. Отца как постоянного посетителя библиотекари хорошо знали и любили, обеспечивая его «профессорскими» привилегиями задолго до того, как он стал профессором.

Кандидатская диссертация, на основе которой потом будет опубликована его первая монография, замаскированная под пособие по спецкурсу, «Современная художественная проза о Великой Отечественной войне» в 2-х частях (1973, 1974), первоначально писалась как работа о гуманизме в литературе ВОВ. Однако, гуманизм оказался слишком размытой категорией для Н.Л., стремившегося найти более осязаемые и в то же время менее идеологизированные модели для анализа. Именно так он вышел на категорию жанра, и выстроил всю свою диссертацию вокруг жанрового развития военной литературы – от очерка к рассказу, через «фронтовую лирическую повесть», затем к роману-хронике и (провальным) попыткам эпического повествования. Теоретическая модель жанра только вызревала в этом исследовании, но сама жанровая логика оказалась весьма эффективной для понимания идеологии военной прозы. Идеологии, которую Н.Л. понимал как все более последовательное разрушение этических и психологических оснований сталинизма: не случайно кульминацией диссертации стала глава о полемике со сталинизмом в трилогии Симонова.

Именно политический, а не собственно научный смысл диссертации, ее неприкрытый антитоталитарный пафос – весьма неуместный в 67-м году, когда отец вышел на защиту – стала причиной проблем с защитой. В Свердловске тогда не было диссертационного совета, и отец отправился защищаться в МГПИ. Пройдя все предзащиты и уже издав автореферат, он столкнулся с натуральным заговором: литературовед от ЦК профессор Ф.Х. Власов распространял слухи о том, что диссертация Н.Л. носит неприкрыто диссидентский характер, что целые главы в ней посвящены именно тем авторам, которые после процессов Синявского и Даниэля, Гинзбурга и Галанскова, оказались в рядах неупоминаемых «подписантов». У отца действительно довольно много и очень позитивно говорилось в диссертации о Б.°Балтере, авторе отличной повести «До свидания, мальчики». Ситуация сложилась самая неподходящая – напуганный Власовым совет готов был проголосовать против опасной диссертации не глядя.

Отца спас Всеволод Алексеевич Сурганов, благодарность которому Н.Л. сохранил на всю жизнь. Будучи секретарем ученого совета, Сурганов нашел способ отменить защиту, перенес ее больше, чем на полгода (а за это время должны были произойти перевыборы совета), а отцу предложил переиздать автореферат, убрав из него (но не из диссертации) «крамолу». В итоге план Сурганова удался, и отец спокойно защитил свою диссертацию со всеми ее антисталинистскими главами, но с новым советом и уже в 68-м (вот почему в библиографии отца два автореферата, различающиеся только годами выпуска – 1967 и 1968). Правда, кроме скромнейшего издания в СГПИ в виде пособия для

спецкурса (в двух частях и тиражом в несколько сотен экземпляров), больше нигде ту книгу – даже по нынешним стандартам легко «тянущую» на докторскую – отцу издать не удалось. Уже в начале 80-х переработанную версию монографии лет пять муржили в издательстве «Советский писатель», а затем отдали на рецензию (заведомо негативную) известному литературному черносотенцу Олегу Михайлову, который глумливо расправился с рукописью, разумеется, не найдя в ней искомого «патриотизма».

После эпопеи с диссертацией отец получил должность старшего преподавателя, а затем и доцента СГПИ. Именно в это время он стал куратором стенгазеты «Филолог», о которой до сих пор с удовольствием вспоминают бывшие выпускники. Каким-то образом отцу удалось воссоздать в достаточно противной атмосфере 70-х ту атмосферу *веселья*, с которой были связаны его воспоминания о студенчестве. Газета при этом была одновременно смешной и серьезной, постоянно балансируя на грани допустимого, и бдительная цензура в лице деканата и ректора не раз снимала тот или иной лист (газета состояла из многих ватманских листов и простиралась метров на десять, а то и пятнадцать). Мне, по малости лет, страшно нравились названия рубрик, перекочевавшие из «Джентельменов удачи» (1973) типа «Д. сказал: «Пасть порву!» – где Д. расшифровывалось как доцент, декан, и т.п.

Но, разумеется, не газета «Филолог» находилась в центре научных интересов доцента Лейдермана. В 70-е он одновременно разрабатывал две важные линии, которые поначалу казались параллельными, однако, впоследствии сошлись в его докторской диссертации, она же монография – «Движение времени и законы жанра» (1982). Одно из этих направлений связано с критикой: как критик в это время Н.Л. с равным энтузиазмом писал и о Трифонове (и получил от того благодарственное письмо), и о Шукшине (еще совсем не классике, а объекте жарких дискуссий), и о Бондареве, – сочетание непредставимое в последующие десятилетия. А с другой, статьи, в которых Н.Л. разрабатывал свою собственную теорию жанра – статьи эти печатались в разных изданиях, в «Движении времени» отец был ограничен скудным лимитом страниц и поэтому вынужден был нередко излагать свои идеи языком настолько концентрированным, что он требовал расшифровки; только в своей последней книге, которая так и называется «Теория жанра» (2010), Н.Л. смог, не ужимаясь, развернуть эту концепцию. Однако, появившись эта книга 30 лет назад – когда эти идеи создавались – она имела бы совершенно иной эффект, чем теперь.

Почему именно жанр и жанровая теория оказались в центре внимания Н.Л.? Во-первых, уже всюду шумел московско-тартуский структурализм – Ю.М. Лотман и «Труды по знаковым системам» были у

всех на устах. И хотя отец всегда говорил, что структуралистские методы эффективны только при изучении фольклора, мифологии и вообще культур, основанных на каноне, тем не менее провозглашенный Лотманом тезис: литературоведение должно стать наукой – не мог его не затронуть. Правда, научность литературоведения Н.Л. черпал не в математических моделях, а в общей теории систем (в особенности – органических), также получившей широкое хождение в конце 60-х. Эта теоретическая модель оказалась ближе потому, что отца всегда интересовали *структуры содержания*, его уникальный талант аналитика художественного текста позволял вычленять наиболее семантически нагруженные элементы формы; и в то же время его всегда интересовало то, как эти формы вместе с их семантикой (одновременно новой и старой) складываются в ансамбль, образуя то, что на языке того времени называлось «художественной целостностью» и полагалось имманентным свойством художественного текста.

Во-вторых, важным влиянием, разумеется, оказался Бахтин – и не книга о Рабле или Достоевском, как можно было бы ожидать, а прежде всего, сборник теоретических статей «Вопросы литературы и эстетики» (1975), вышедший в год смерти ученого. Строго говоря, отцовская модель жанра к этому моменту была уже вчерне продумана (это легко видно по библиографии Н.Л.: первая теоретическая работа о жанре опубликована в 74-м, а значит, написана не позже 73-го); но он интенсивно искал «научных родственников», начав в силу основательности характера прямо с Аристотеля (статья 76-го года). Бахтинские описания эпоса и романа (и романизации) подтолкнули отца к концепции метажанров, как организующих центров исторических систем жанров; а бахтинская категория хронотопа плюс анализ слова в романе, в сочетании с концепцией субъектной организации, разрабатываемой в те же годы Б.О. Корманом, перешли в «носители жанра» – структуру отцовской теоретической модели.

На этих научных перекрестках, сам того не ведая, Н.Л. практически в одиночку создавал методологию, которая в американском литературоведении получила название «новая критика». Однако, Н.Л. строил свою «новую критику», уже учитывая терминологические и концептуальные новации московско-гартуской школы. В этом смысле его взгляд, завязанный на поэтике текста, был значительно шире так называемого «системно-структурного подхода», не идущего дальше «индивидуального стиля» и «художественного мира автора»: отца всегда интересовали поиски исторических смысловых ансамблей, одновременно устойчивых и мобильных, его логика требовала структуралистских «механизмов», но не ограниченных формой, а работающих на расширение, раздвижение конкретного, всегда локального смысла текста. При

этом теоретические конструкции всегда вырастали в его работах из пристального анализа текста – вообще именно стремление ввести органическую логику текста, которую Н.Л. чувствовал как никто, в рамки некоей системной теории лежало в основе всего, что он писал.

Сказанное в первую очередь относится к его докторской диссертации, которую отец писал под названием «Формы времени», в полной мере определявшим, если угодно, пафос этого исследования: через смену жанровых форм понять скрытые смещения во времени, которое казалось тогда, в конце 70-х-начале 80-х, остановившимся. Книга, под другим названием «Движение времени и законы жанра», вышла в 82-м и вызвала одобрительные рецензии, в том числе и в «Вопросах литературы» и «Литературном обозрении», в то время самых либеральных профессиональных изданиях в СССР. С диссертацией же все оказалось сложнее: раскрывая свою теорию жанра на рассказах Шукшина и Гранта Матевосяна, повестях Трифонова, Астафьева и Нодара Думбадзе, как, впрочем, и на романах Бондарева и Симонова, Н.Л. попадал в расщелину между опасной теорией и неуважаемой академическими коллегами историей современного литпроцесса. Первоначально отец привез диссертацию на обсуждение в отдел теории ИМЛИ. Его очень поддерживали Н.К. Гей и Г.А. Белая, работавшие тогда в ИМЛИ. Однако, кроме них, сотрудником этого отдела был и В.В. Кожин, известный идеолог так называемой «русской партии» и одновременно самоназначенный главный охранитель наследия Бахтина. На обсуждении диссертации в отделе именно Кожин занял по отношению к работе отца резко непримиримую позицию, снисходительно предложив не сочинять собственные теории, а написать диссертацию о жанровой теории Бахтина. Н.Л. на это, естественно, пойти не мог и, по совету друзей, решил защищаться в совете по истории литературы при филфаке МГУ.

Председателем этого совета был одиознейший А.И. Метченко. Не особенно вглядываясь в автореферат, Метченко заставил отца изменить название диссертации на неудобочитаемое «Закономерности формирования и развития прозаических жанров в советском историко-литературном процессе (1950–70-е гг.)» и навязал в качестве оппонента «такую же ворону» из ИРЛИ – А.Н. Иезуитова, скучнейшего номенклатурного начетчика. У людей подобного рода отец с его темпераментом, его лекторским обаянием всегда вызывал аллергическую реакцию. Так вышло и в этот раз. По-видимому, задетый живой (в его понимании «развязной») манерой, в которой Н.Л. отвечал на вопросы оппонентов, Иезуитов устроил прямо на защите истерику, и если бы не оппоненты и друзья отца А.С. Карпов и М.М. Гиришман, вставшие стеной за Н.Л., защита была бы сорвана.

Начало 80-х стало для Н.Л. временем, когда он начал строить вокруг себя первый научный коллектив – свою кафедру. Впоследствии таких коллективов будет множество – от коллектива авторов монографий до фактического мобильного института повышения квалификации учителей-словесников области (впоследствии ИФИОС «Словесник»), благодаря которому выживали в самое тяжелое время практически все филологи Екатеринбурга. Тогда же его работы начали пробиваться на страницы центральной печати – в «Просвещении» вышла книга по системе преподавания современной литературы (в соавторстве с учителями-методистами А.М. Сапир, М.А. Богуславской, К.Д. Кузнецовой), в «Литературном обозрении» появились две его статьи, его (опять-таки с боями) приняли в Союз писателей. (Впрочем, в эти же годы он ходит на занятия в пединститут, находящийся тогда на Шинном заводе, со стальной трубкой в портфеле – на случай нападения пьяных прохожих, каковые уже случались: это так, к обстоятельствам времени и места.)

Однако, по-настоящему талант Н.Л. – и как ученого и как научно-го лидера – развернулся только в «перестройку» и последующие годы. Вообще все перипетии «перестройки» он переживал очень интенсивно и радостно: ему, как и многим тогда, казалось, что возвращается атмосфера его юности, что время наконец-то набирает обороты в верном направлении; и он еще очень долго не замечал мрачные симптомы того, что движение происходило совсем не в ту сторону; его живительный оптимизм позволял все интерпретировать в позитивном свете. О том, что падение советского режима отец переживал как вторую молодость, наконец-то разворачиваясь в полную силу, свидетельствуют не только его многочисленные публикации в самых звонких изданиях – «Новом мире», «Вопросах литературы», «Звезде», “*Wiener Slawistischer Almanach*”, “*Rossica Romana*” и многих других; не только годовая стажировка по гранту Фулбрайта в одном из лучших американских университетов (во время этой стажировки ему, в частности, «перехватили» инфаркт, сделав шунтирование); не только победа в конкурсе на лучший вузовский учебник, объявленный Фондом Сороса (учебник этот о русской литературе 1950–90-х годов на сегодняшний момент выдержал 6 переизданий за десять лет и вошел в круг обязательного чтения студентов-филологов всей России); не только многочисленные аспиранты и докторанты; не только созданный им многопрофильный научный совет по кандидатским и докторским; не только официальные звания и награды (к которым отец относился вполне иронически) и даже не только то, что он в шестьдесят, после инфаркта, впервые сел за руль автомобиля, первоначально представляя явную опасность на дорогах, но постепенно все увереннее осваивая страшные

ебуржские трассы... Главное другое: достаточно взглянуть на его библиографию, чтобы увидеть резкий скачок научной продуктивности Н.Л. после 1990-го года.

Если за период с 62-го по 90-й Н.Л. опубликовал около 100 статей, 4 книги и десяток методичек, то за следующие два десятка лет – 8 полномасштабных монографий, четыре десятка разного рода книг меньшего формата, 150 с лишним статей, несколько коллективных монографий, в том числе «Литература Урала», несколько десятков сборников под его редакцией, журнал «Филологический класс»... Если до 90-го года, в его библиографии значатся всего пять критических отзывов на его работы, то в 90-е и 2000-е появляется не меньше трех десятков рецензий на его труды, в том числе в «Вопросах литературы»; «Новом мире», «Знамени», «Независимой газете», крупнейших международных журналах по славистике.

Задача, которую Н.Л. поставил перед собой, едва рассыпались мифы советского литведа, впечатляет величиим замысла: он начал создавать новую, максимально полную историю русской литературы советского периода. Причем, в отличие от многих коллег, пошедших по пути позитивизма (понимаемого как противоядие от идеологических схем), он строил историю литературы как *теоретический проект*. Верный своему системному видению, он разрабатывал типологию литературных направлений – течений – стилевых потоков, которую и развернул в работах 1990–2000-х годов. (Наиболее подробно эта логика изложена в его главах, написанных для составленной им коллективной монографии «Русская литература XX века: закономерности исторического развития» (2005). К этой теме он вернулся и в своей обобщающей «Теории жанра».)

Но, как и прежде, Н.Л. начинал новый этап своей интеллектуальной эволюции не с теоретических построений, а с анализа текста: подробных «микромонаграфий», посвященных Бабелю, Шаламову, Мандельштаму, Маяковскому, «Реквиему» Ахматовой, собранных впервые в книге «Русская литературная классика XX века» (1996). Сюда же примыкает и книга о его тайной любви – Горьком, написанная вместе с верным другом и коллегой, А.М. Сапир (2005). (Впрочем, так же, без скидок, он написал и очерк драматургии Николая Коляды.)

Первым шагом в направлении собственной истории литературы XX века стал наш с ним учебник «Современная русская литература: 1950–90-е годы» (впоследствии переименованный в «Русская литература XX века: 1950–90-е годы»). У этой книги было два принципиальных отличия от аналогичных пособий, выходивших в то время: во-первых, системность – мы старались проследить трансформацию трех мощных направлений, которые, как выяснилось, сосуществовали друг

с другом: модернизма, реализма и соцреализма, прораставших и через официальную советскую литературу, и через андеграунд, и через эмигрантскую словесность. Во-вторых, пренебрегая канонами жанра учебника, отец выдвинул на первый план наиболее интересные, написанные живым языком и проникнутые его личным отношением анализы текстов. «Доктор Живаго», «Русский лес», «В круге первом», лирика Окуджавы и Твардовского, рассказы Шаламова и Казакова, повести Быкова, Астафьева и Трифонова, романы Катаева – вот неполный перечень тех текстов, в разборах которых аналитический талант отца проявил себя с наибольшей силой; этим разбором, полагаю, предстоит долгая жизнь – с ними будут аукаться еще многие последующие интерпретаторы. Причем, Н.Л. настаивал на том, чтобы анализ не сбивался на жесткую схему, а был живым, органичным, чтобы системный скелет не выпирал, а обрастал мясом, чтобы сохранялась атмосфера текста, а нюансы не сглаживались, а наоборот, раскрывались бы. Показательно, например, что, недовольный моим жестковатым разбором «Генерала и его армии» Г. Владимова, он во втором издании развернул его на полноценную статью, введя исторические источники, проследив за эволюцией характеров, в общем отведя душу.

Этими же принципами он руководствовался и в учебнике о литературе 20-х годов, написанным им вместе с Н.В. Барковской, М.А. Литовской, И.Е. Васильевым и другими коллегами и учениками. Здесь на первом плане оказались неоромантизм, трансформирующийся модернизм, из которого выделяется могучий пласт экспрессионизма (Маяковский, Белый, «крестьянская поэзия», Замятин, Пильняк, Кржижановский); авангард, неореализм (с Горьким во главе) и такое гибридное образование, которое Н.Л., используя, но переосмысляя термин Бахтин, назвал «гротескным реализмом» (Ильф и Петров, Зощенко и др.). И снова здесь в обилии представлены развернутые, богатые снайперскими наблюдениями и сопоставлениями, и в то же время системно выстроенные отцовские разборы текстов: совершенно по-новому прочитан Есенин, великолепная глава о «поэмах в прозе» (она вышла в «Вопросах литературы» под названием «Кровавый карнавал»), глубокий очерк о Кржижановском, новаторский анализ «Заметок и воспоминаний», «Расказов 1922-24 гг.» и «Клима Самгина» Горького... Не случайно эта книга разрослась до двухтомника общим объемом более тысячи страниц.

Остался «в лесах» том, продолжающий и замыкающий этот мегапроект (пятикнижие!)– посвященный истории литературы 1930–50-х годов. Подхватив вместе с М.А. Литовской координацию работы над этой книгой, я поразился тому, что казалось естественным при жизни Н.Л.: спектру его научной эрудиции. Он один мог написать высоко-

профессиональные главы и о Булгакове, и о Платонове, и о Мандельштаме, и о Пастернаке, и об Ахматовой, и о Леонове, а вдобавок еще и о литературе периода войны, и о многом, многом другом. То, что он собирался писать сам (остались лекции, некоторые статьи), оказалось по плечу только целой бригаде литературоведов.

Последняя книга Н.Л., «Теория жанра» не писалась как последняя книга – ведь еще не было завершено «пятикнижие»! Однако, уже года с 2008-го, каждый раз при нашей встрече, отец методично вводил меня в курс своих дел – чтоб быть готовым, чтоб ничего не затерялось. Он не хотел уходить и боролся с болезнями из последних сил, но он знал, что сил этих уже мало. Может быть, поэтому «Теория жанра» оказалась значительно шире, чем заявленная тема: он подсознательно собирал в нее *все*, что казалось ему *главным* в его научной судьбе. Собственно, теории жанра посвящена, наверное, треть этого 900-страничного тома (и возможно, имеет смысл издать именно эту треть отдельной книгой). Все остальное – разборы любимых текстов. А еще глобальная типология исторических систем – космографических и хаографических – от античности до наших дней. И хотя мы с ним постоянно спорили об этой части его работы (мне его логика представлялась слишком глобальной), за его схемой тонны *заново* освоенной литературы: ведь Н.Л. подкрепляет свою аргументацию *анализами* Данте и Петрарки, сонетов Гонгоры и Кеведо, эссеистики Монтезя и Ларошфуко, эллинистических и плутовских романов, Пушкина, наконец. Я уже и не говорю о сотнях томов перечитанной и продуманной им научной литературы обо всех этих и многих других классиках, вообще-то никогда не входивших в поле его зрения. Как он это успевал? Откуда брались силы?

И ведь это несмотря на то, что со второй половины 90-х здоровье отца стремительно ухудшается – он переносит два тяжелых инфаркта, у него развивается диабет, плюс, ко всему, в одной из ебуржских больниц его заражают неизлечимым гепатитом, который подрывает печень, что вызывает сильнейшие боли по всему телу. От души ненавидя таблетки и прочую медицину, и принимая их лишь благодаря неусыпной заботе мамы и брата Ильи, доктора медицинских наук, отец от всего этого предпочитал лечиться работой.

Самое поразительное: она ему действительно помогала. Интересная идея – неважно, своя или чужая – была его наркотиком: возвращала силы, зажигала. Прочитав или посмотрев что-то яркое, он шутил, спорил, горячился, забывая о сердце, давлении, сахаре, болях. Может быть, в этом объяснение фантастического масштаба сделанного Н.Л.? До последних дней, если не часов своей жизни он писал, вычитывал верстку «Теории жанра», сдавал в печать двухтомник по 20-м годам,

генерировал идеи, держал в голове все дела «Словесника», все диссертации, которыми руководил... Этим он спасался от уныния и болезней.

Уныния и не было никогда. Ни у него, ни у тех, кому посчастливилось работать и жить рядом с ним.

Февраль 2011 г.

М.П. АБАШЕВА
(г. Пермь, Россия)

«ГРУДОЧКА» И «ТЕОРЕТИЗМЫ» (ИЗ ПЕРЕПИСКИ С НАУМОМ ЛАЗАРЕВИЧЕМ ЛЕЙДЕРМАНОМ)

Когда я – в последние уже годы – осторожно пыталась спросить у Наума Лазаревича Лейдермана что-то вроде «Как Вы себя чувствуете?», он отвечал почти сердито: «Ну что Вы спрашиваете, как я себя чувствую, спросите лучше, что я написал!» Все знали, что написал он около трехсот работ, не вызывавших сомнения в их исключительной и живой ценности (среди них и серьезные монографии, и самый лучший учебник по современной литературе). Но его неутомимый ум все время порождал новые идеи. Железный Лейдерман как будто никак не хотел существовать вне дела и вне мысли. Не счесть им задуманных и осуществленных конференций, семинаров, книжных и журнальных серий... Однако даже научная конференция не была самодостаточной для него, она становилось поводом для более широкого социального действия. Помню, на конференции в МГУ в 2000 году он написал планменное открытое письмо в «Литературную газету» о преподавании литературы в школе, о сокращении часов, об угрозе отмены письменного экзамена (сочинения), собрав подписи филологов всей страны. На конференции в Перми учителя не отпускали Наума Лазаревича после «круглого стола» часа три, не меньше... Все филологи Урала, да и не только, чувствовали на себе магнитное притяжение его воли.

Зная Наума Лазаревича много лет, мы видели более всего эту его неутомимую собранность, вложенность в дело, интеллектуальную силу. Однако если вдруг удавалось увидеть «домашнего» Лейдермана (мы с мужем были в его с Лилей Иосифовной чудесном доме, еще как-то раз – вместе с ним в гостях у Щенниковых) – открывался вдруг его совершенно «жванецкий» юмор и темперамент, теплый дружеский свет, совершенно детское, радостное приятие жизни во всех ее проявлениях.

В это последнее лето Наум Лазаревич в полуделовых электронных письмах неожиданно легко «оступался» в человеческие воспоминанья и разговоры: *«Хотелось бы просто так повидать вас. Потре-*